

## Нація и языкъ

Нація есть культурный союзъ. Нѣтъ культуры — нѣтъ и націи. Національная культура проявляетъ себя рѣшительно во всѣхъ областяхъ человѣческой дѣятельности. Хозяйство, семейный бытъ, право, государственность, наука, искусство, — все это «части» одной и той же культуры, все это объединено общимъ «духомъ» и носитъ на себѣ отпечатокъ общаго «культурнаго стиля». Безсмысленно дѣлать культуру на «матеріальную» и «духовную», какъ дѣлаютъ часто: «печной горшокъ» продуктъ дѣятельности духа въ такой же степени, какъ и «кумиръ Бельведерскій». Изъ этого не слѣдуетъ, что для историка, или морфолога культуры въ сѣ сферы «культурной дѣятельности» одинаково значительны. Надо различать: абсолютную цѣнность культурныхъ дѣйствій и ихъ результативность, ихъ общественную полезность и ихъ показательность. Можно спорить о томъ, что «дороже», кумиръ ли Бельведерскій или печной горшокъ, и въ какомъ отношеніи «дороже»: для морфолога культуры это безразлично. У него своя скала культурныхъ цѣнностей — по степени ихъ показательности. Не всѣ народы — и опредѣленный данный народъ не во всѣ моменты своего существованія — способны къ ваянію «кумировъ», но безъ печныхъ горшковъ люди обойтись не могутъ. Это, однако, не значитъ, что для морфолога культуры печной горшокъ тѣмъ самымъ — не «дороже», но просто важнѣе, интереснѣе «кумира Бельведерскаго». Именно благодаря тому, что для «черни» печной горшокъ «дороже» въ виду его назначенія — ты пищу въ немъ себѣ варишь, — выдѣлка «печныхъ горшковъ» скорѣе поддается «раціонализациі», слѣдовательно и обезличенію. Въ этомъ вѣдь и состоитъ въ значительной степени «культурный прогрессъ» нашего времени. Аттическая ваза столь-же показательна для историка древнихъ Аѳинъ, какъ и надгробная рѣчь Перикла у Фукидида, или діалогъ Платона: все это въ одинаковой степени проникнуто аѳинскимъ «гені-

емъ». Но современный аэнининъ ѣсть изъ такой же самой посуды, носитъ такіе же самые пиджаки и брюки, какъ и современный парижанинъ. Съ точки зрѣнія морфологіи культуры, самой важной сферой будетъ та, которая удовлетворяетъ двумъ признакамъ: наибольшей всеобщности и наибольшей самобытности. Такой сферой является языкъ. Есть культуры — и націи — «безъ-индустріальныя», «безъ-музыкальныя», безъ-государственные, но культуръ безъ-язычныхъ нѣтъ. Далѣе: всѣ безъ-исключенія сферы культуры поддаются, въ большей или меньшей степени «раціонализаци»: кино и радіо, желѣзныя дороги и почта «нивелируютъ» человѣчество, — и только языки остались внѣ этого общаго движенія въ сторону обезличенія. Языкъ современнаго русскаго, современнаго француза, нѣмца, это въ основѣ тѣ-же-самыя-языки, на которыхъ говорили русскіе, нѣмцы, французы еще тогда, когда у нихъ были собственныя «національныя одежды» и «національныя» печные горшки. Наконецъ языкъ есть то, что въ наибольшей степени, съ одной стороны, связываетъ людей, съ другой, — раздѣляетъ. Мадонна Рафаэля и Парсифаль — общечеловѣческія цѣнности: ихъ можетъ «понять» всякій сколько-нибудь развитой человѣкъ. Но «Мѣдный Всадникъ» «понятенъ» только тому, кто знаетъ русскій языкъ, какъ «свой собственный», т. е. кто въ извѣстной степени является русскимъ. Пушкинъ, Мильтонъ, Гете, Данте — непереводимы и, строго говоря, наглухо закрыты для тѣхъ, кто не въ состояніи читать ихъ въ подлинникѣ. Нельзя провести знака равенства между націей и языковымъ единствомъ: еще вопросъ, существуетъ-ли швейцарская нація, но не подлежитъ сомнѣнію, что женевицы не-французы. Однако, никто не считаетъ Руссо, Бенжамена Констана и г-жу Сталь «швейцарскими» писателями. Англичане ввели понятіе *english speaking nations*. Оно хорошо выражаетъ реальныя отношенія, сложившіяся въ англо-саксонскомъ мірѣ: языкъ есть то, что въ наибольшей степени связываетъ духовно англо-саксонскія націи. Можно говорить объ «американской» литературѣ, отличая ее отъ «англійской»; но большинство «американскихъ» и «англійскихъ» книгъ все же выходятъ одновременно въ Лондонѣ и въ Нью-Йоркѣ. Процессъ образования націй невѣроятно сложенъ; нерѣдко внѣшне - политическія условія играютъ при этомъ рѣшающую роль; бельгійская нація

въ значительной степени «выдумана» и «сдѣлана» англичанами: ибо для Англїи имѣеть и всегда имѣло жизненное значеніе, чтобы Бельгія не попала въ руки Франціи; — и швейцарская нація, если таковая уже есть — скорѣе всего, будетъ, — является продуктомъ нейтралитета Швейцаріи. Языковыя границы не всюду, далеко не всюду, совпадаютъ съ національными, — и все же: какъ общее правило, общность языка есть залогъ, стимулъ, основаніе и признакъ національнаго единства. Людямя, говорящимъ на одномъ языкѣ, свойственно сознать себя однимъ народомъ и стремиться къ тому, чтобы оформить въ одну націю; свойственно противопоставлять себя другимъ народамъ. По мѣрѣ того, какъ во всѣхъ прочихъ отношеніяхъ люди становятся все болѣе и болѣе похожими другъ на друга — въ настоящее время не только одежда, обиходъ, искусство, но и государственныя формы все болѣе утрачиваютъ «традиционно-національный» обликъ, — языки все болѣе «опредѣляются», отвердѣваютъ, пріобрѣтаютъ «непроницаемость» для вліяній извнѣ—та тревога, которую быють французы по поводу «засоренія» французскаго языка ничтожнымъ количествомъ англійскихъ (почти исключительно спортивныхъ) терминовъ, служитъ какъ разъ лучшимъ подтвержденіемъ этого, — «націонализуются», и такимъ образомъ тяготѣютъ къ тому, чтобы приготовить то положеніе вещей, при которомъ понятія «языкъ» и «нація» совпадутъ окончательно. Историческая наука до сихъ поръ недостаточно учитывала и не подвергла истолкованію эту особенность процесса національнаго развитія народовъ. Обычно отмѣчается, что главное содержаніе исторіи новаго времени составляетъ образованіе національныхъ культуръ и національныхъ государствъ, причемъ развитіе національнаго хозяйства, національной государственности, національнаго искусства и національнаго языка изображается какъ различныя стороны одного и того же и одинаковымъ образомъ протекающаго процесса, — между тѣмъ какъ на дѣлѣ это совершенно не такъ, и понятно, почему. Національная государственность и національное хозяйство слагаются и формируются подъ давленіемъ извнѣ: здѣсь есть объективныя, «раціональныя» мѣрки, опредѣляющія то, что всегда и всюду цѣлесообразно и выгодно. Совершенно невѣрно, будто не существуетъ «наилучшаго государства вообще» и будто государственность «долж-

на» считается съ «національными традиціями». *Caeteris paribus*, демократія всегда сильнѣе автократіи, потому что въ демократіи народъ всегда сплоченнѣе и всегда сознательнѣе относится къ «общему дѣлу»; и, равнымъ образомъ, «національная» индустрія вынуждена подравниваться подъ какой-то общій «standard». Но языкъ не служитъ ни средствомъ борьбы, ни предметомъ обмѣна. Языкъ существуетъ единственно для внутренняго употребленія. Онъ, правда, можетъ сыграть и международную роль. И залогомъ успѣха его на этомъ поприщѣ можетъ, между прочимъ, явиться и степень его «раціональности». При прочихъ равныхъ условіяхъ, французскій или англійскій языкъ въ международномъ оборотѣ всегда восторжествовалъ бы надъ русскимъ или нѣмецкимъ. Однако, лишнее напоминать, что ясность и «логичность» французскаго языка или проста синтаксиса англійскаго ничуть не были результатомъ приспособленія этихъ языковъ къ потребностямъ «внѣшней» среды: эти языки создавались въ расчетѣ исключительно на «внутреннее потребленіе», а не на «внѣшній рынокъ». Поэтому «прогрессъ» въ этой области значитъ совершенно не то, что прогрессъ въ другихъ областяхъ культуры. Французскій языкъ до Монтаня и Ронсара, нѣмецкій до Лютера, Лессинга и Гете, русскій до Державина и Пушкина были въ меньшей степени «національными» языками, нежели послѣ: они были гораздо расплывчатѣе, податливѣе, неустойчивѣе. И, наконецъ, они не были освящены той великой культурной традиціей, которая благодаря имъ и ими же укаждаго изъ этихъ народовъ сложилась. Народы мѣняютъ свои учрежденія, свои «нравы и обычаи», даже свою религію, даже — мѣсто жительства, все — кромѣ языка. Изъ всѣхъ многообразныхъ «національныхъ традицій», которыя, въ глазахъ людей, беззаботныхъ насчетъ исторіи, являются одинаково «священными», только языковая традиція сопротивляется времени, — болѣе того: временемъ укрѣпляется. Въ этомъ отношеніи съ ней, пожалуй, еще можетъ стать наравнѣ традиція внѣшней политики. Однако, устойчивость обѣихъ этихъ традицій имѣетъ совершенно различное происхожденіе: языковая традиція автономна, тогда какъ внѣшне-политическая — гетерономна. Постоянство внѣшней политики каждаго даннаго государства есть, если можно такъ выразиться, слѣдствіе «непре-

равно длящейся случайности», каковою, напр., является для Франціи то, что «судьба» опредѣлила ей имѣть сосѣдями нѣмцевъ и англичанъ. Мы не выбираемъ себѣ сосѣдей, какъ не выбираемъ родителей, наша творческая способность здѣсь не причемъ. Языковая традиція народомъ творится; внѣшне-политическая ему навязывается. Языкомъ нація держится и живетъ. Умреть языкъ, разложится, — и нація нѣтъ. «Национальный» вопросъ есть, поэтому, вопросъ языка — всегда и прежде всего.

Что собственно, однако, мы разумѣемъ, когда говоримъ о національномъ языкѣ? Это — вопросъ далеко не пустячный, напротивъ, очень важный, очень сложный и очень неясный. И не только «умозрительно». Для насъ, русскихъ, онъ имѣетъ сейчасъ жизненное значеніе. Что такое, на примѣръ, украинскій языкъ? «Часть»-ли русскаго языка, его «діалектъ», или самостоятельный языкъ? И что такое, вообще, «діалектъ»? И каково «реальное» и «должное» соотношеніе «языковъ» и ихъ «діалектовъ». На этотъ счетъ существуютъ, какъ извѣстно, разныя мнѣнія. Для однихъ, дѣло обстоитъ просто. «Діалекты» въ ихъ глазахъ нѣчто подобное тому, чѣмъ для героевъ Пошехонской старины были крѣпостные: есть господа и есть рабы; это самимъ Богомъ такъ устроено, не съ насъ повелось и не нами кончится. Филологи, однако, придержи-ются другого взгляда. Для филолога раздѣленіе языковъ на «собственно языки» и «діалекты» или «нарѣчія» является чистой условностью. Гдѣ, въ самомъ дѣлѣ, граница между «языкомъ» и «его» нарѣчіями? «Языкъ вообще» есть чистѣйшая абстракція. Строго говоря, существуетъ столько же языковъ, сколько есть людей на свѣтѣ, обладающихъ даромъ рѣчи. Въ говорящихъ людей нѣтъ языка; стихотвореніе Пушкина «существуетъ» въ собраніи сочиненій Пушкина лишь «виртуально»; «реально» же только въ тотъ моментъ, когда я его читаю. Но нѣтъ двухъ людей, которые бы говорили на «одномъ и томъ же» языкѣ совершенно одинаково. Въ говорящихъ на «одномъ и томъ же» языкѣ людей есть только одно: нѣкоторая общая граница, полагающая предѣлъ ихъ языковому творчеству, каковымъ является всякое говореніе. Это: синтаксисъ «виртуальнаго» языка и его словарь. Словарь «языка вообще» и словарь каждого говорящаго на немъ — далеко не одно и то же. Ни одинъ русскій не пользуется всѣми словами, имѣющимися у Даля, и ни одинъ

французъ не нуждается въ своемъ обиходѣ во всѣхъ словахъ, занесенныхъ Литтре въ его словарь. У Даля имѣется множество словъ «областныхъ», а также множество словъ, правда, болѣе или менѣе общерусскихъ, но «простонародныхъ». Лишь часть словъ, извѣстныхъ Далю, попала въ русскій «литературный» языкъ. И можно быть увѣреннымъ, что, кромѣ словъ, занесенныхъ въ словарь Даля, словъ «областныхъ» или «классовыхъ», не «литературныхъ», есть еще великое множество другихъ. Слова постоянно «нарождаются» и постоянно «умираютъ»: несомнѣнно, что много словъ, которыя приходилось слышать Далю, теперь уже услышать нельзя. Въ этомъ отношеніи «литературный» языкъ устойчивѣе. Литература обезпечиваетъ словамъ долгую, иной разъ и вѣчную жизнь; но она же и кладетъ преграды дальнѣйшему обогащенію «литературнаго» словаря. Не всякій отважится напечатать слово, котораго нѣтъ у Толстого или у Тургенева. Литература создаетъ «классическій» языкъ, т. е. «образцовый», слѣдовательно, въ извѣстномъ смыслѣ — мертвый. Іерархія «языка» и его діалектовъ возникаетъ вмѣстѣ съ литературой. Діалекты данного языка, это — тотъ же самый языкъ, но только — языкъ живой, въ отличіе отъ литературнаго «мертвого». Ясно, что каждый «діалектъ» можетъ стать «языкомъ», и каждый языкъ — упасть до степени «діалекта». Провансальскій языкъ сталъ «языкомъ» раньше нынѣшняго французскаго. На этомъ языкѣ существовала богатая и очень «ученая» поэзія, въ свое время сильно повліявшая на развитіе поэзіи романскихъ народностей вообще. Что же случилось съ этимъ языкомъ? Онъ заглохъ, оскудѣлъ, послѣ того какъ Лангедокъ утратилъ свою самостоятельность, послѣ того какъ Арль, Авиньонъ и Монпелье уступили свое мѣсто Парижу. Онъ обратился въ «провинціальный» языкъ, на немъ перестали писать стихи для «куртуазнаго» общества, его классики были забыты. Заглохши, онъ — «воскресъ», изъ «классическаго», «мертваго» языка сдѣлался «живымъ», т. е. «діалектомъ». Соотечественники Тартарена въ произведеніяхъ Бертрана де Борна или Пейра Кардиналя не находили — потому что они ихъ забыли — никакихъ препонъ своему языковому творчеству. Въ пол. XIX вѣка у провансальцевъ явился большой поэтъ, Мистраль. Его поэма «Мирейо» стала «классической». Съ Мистралемъ связано движеніе «фелибровъ», «*Félibrige*» воз-

родило провансальскій языкъ, если можно употреблять глаголь «возродить», когда рѣчь идетъ объ обращеніи «живого» языка въ «мертвый», чѣмъ, болѣе или менѣе, всегда является переходъ «діалекта» на степень «языка».

Изъ того, что каждый «діалектъ» можетъ стать «языкомъ», нѣкоторые дѣлаютъ тотъ выводъ, что въ условіяхъ «нормальнаго» развитія онъ имъ и долженъ стать. Въ настоящее время мы присутствуемъ при весьма курьезномъ — но и зловѣщемъ — процесѣ искусственной выдѣлки «языковъ» изъ діалектовъ русскаго языка. Ясно, что тамъ, гдѣ у данной діалектологической группы нѣтъ литературы — а ея у нея нѣтъ никогда, ибо, еслибы она была, то «діалектъ» тѣмъ самымъ сталъ бы «языкомъ», а діалектологическая группа націй — приходится выдумывать такія черты, которыя бы служили основаніемъ для отторженія даннаго «діалекта» отъ его «языка». Такимъ вымышленнымъ признакомъ является, напр., фонетика «бѣлорусскаго языка». «Создатели» этого послѣдняго «закрѣпляютъ» эту фонетику, должнствующую служить, въ ихъ представленіи, «титломъ» на право бѣлорусскаго языка быть повышеннымъ изъ «діалектовъ» въ «языки», путемъ правописанія. То начертаніе, которыми пользовались русскіе фольклористы, напр., Аванасьевъ въ своихъ «Сказкахъ», для передачи особенностей бѣлорусскаго говора — хадиць, гавариць, бэларуски, прійшоу и т. под., — они обратили въ «официальную» орфографію, а эта орфографія сама уже долженствуетъ свидѣтельствовать о томъ, что новоявленный языкъ ничего общаго съ русскимъ не имѣетъ. Конечно, это — заблужденіе, — и врядъ-ли добросовѣстное. Въль общерусское правописаніе — совсѣмъ не фонетическое, а чисто условное. Если бы для русскаго общелитературнаго языка было усвоено фонетическое правописаніе, то русскія книги были бы по внѣшнему виду очень похожи на нынѣшнія изданія «бэларусскава» университета въ «Менскѣ» (Минскѣ). Мы бы писали (заимствую примѣръ изъ чеховскаго «Экзамена на чинъ») такъ: «хараша халодная вада, када хочица пить». Слѣдую способу бѣлорусскихъ патріотовъ, можно было бы наплодить въ Россіи множество новыхъ «языковъ». Стоило бы только писать «холоука» (головка), «сапохоу» — и «новороссійскій языкъ» готовъ. Общерусское правописаніе совсѣмъ не отражаетъ фонетическихъ особенностей великорусскаго го-

вора по сравненію съ бѣлорусскимъ, или новороссійскимъ, или говоромъ области войска Донского, или Сибирскимъ. Это — правоисаніе именно условное, «среднее», никакъ не отражающее тѣхъ или иныхъ мѣстныхъ особенностей произношенія. Введеніе областныхъ фонетическихъ оресграфій не болѣе какъ уловки, передергиваніе картъ.

Надо полагать, что въ основѣ этой некрасивой игры лежитъ все же нѣкоторое искреннее убѣжденіе, весьма распространенное. Природу этого убѣжденія я бы характеризовалъ такъ: это — романтическій натурализмъ, осложненный эгалитарно-демократическимъ догматизмомъ. Съ одной стороны всякій «діалектъ» разсматривается, какъ «будущій языкъ» и притомъ, какъ «естественно» долженствующій стать «языкомъ»; съ другой — какъ «угнетенный» языкъ, имѣющій нравственное право на «эмансипацію». Здѣсь кроется своеобразное «сентиментальное народничество», то народничество, которое хочетъ и «поднять» до высшаго уровня «простой народъ» и, вмѣстѣ съ тѣмъ, обезпечить неприкосновенность его «народныхъ», признаваемыхъ «истинно-национальными», особенностей. Есть нѣчто отъ руссоистскаго «ressentiment» въ томъ убѣжденіи, что въ фактѣ образованія русскаго литературнаго языка на базѣ преимущественно великорусскаго «нарѣчія», вѣрнѣе великорусскихъ говоровъ, заключается нѣкоторая историческая «несправедливость» и вмѣстѣ съ тѣмъ извѣстное отклоненіе отъ «нормы». Вѣдь для демократической догматики — именно догматики, а не теоріи, — характерна вообще вѣра въ «нормальный» историческій процессъ и въ его «отклоненіе» отъ нормы, каковымъ представляется вся доселѣ протекшая исторія человечества. Что же касается вопроса о томъ, какъ слѣдуетъ «выправить» историческій процессъ и загладить «грѣхи исторіи», то, примѣнительно къ данному случаю, на помощь приходитъ догматизмъ иной категоріи, хотя, по происхожденію и по «паѳосу» родственнѣй первому: догматизмъ романтическаго натурализма, тотъ о которомъ я сейчасъ говорилъ: «просто-народность» есть какъ-бы признакъ и залогъ «истинной», «подлинной» народности. Историческое «преступленіе» должно быть искуплено и историческая «ошибка» исправлена: русскую націю, поглотившую постороннія ей «народности», слѣдуетъ «раздѣлать» и этимъ народностямъ вернуть самостоятельное бытіе, чтобы онѣ стали нація-



ми, каковыми онѣ «по справедливости» и «естественно» должны стать. Нужно-ли доказывать, что это — чистѣйшій догматизмъ, съ характерной для всякаго догматизма особенностью мышленія: «додумывать» ровно до того мѣста, до котораго допускаетъ догма, а затѣмъ — переставать думать и не позволять этого другому? Вѣдь исторически сложившіяся народности составились изъ этническихъ ингредиентовъ, которые и сами были продуктами ранѣе совершившихся «несправедливостей» — и гдѣ слѣдовало-бы остановиться, «раздѣлявая» существующія нынѣ націи, — развѣ на временахъ путешествія Энея или постройки Вавилонской башни? И бѣлорусская народность — столь же «смѣшанная», какъ и русская нація, и если ужъ заглаживать «историческіе грѣхи», то придется рѣшиться на то, чтобы воскресить вымершія «расы», чего и хотять, напр., бретонскіе «сепаратисты»\*) Что всякая этническая группа могла бы стать націей, въ этомъ нѣтъ ничего а-priori невѣроятнаго. Что разнообразіе національныхъ культуръ можетъ способствовать духовному обогащенію человѣчества, это врядъ-ли подлежитъ оспариванію. Заключать же отсюда, что всѣ этнические группы должны сдѣлаться націями и притомъ цѣною разложенія и смерти уже существующихъ великихъ историческихъ націй, это и нелогично и дико.

Романтико-демократическій догматизмъ разсматриваетъ «діалекты» какъ «меньшую братію», «угнетенную» «господствующимъ» языкомъ. Для этого вида догматизма, какъ это уже давно было замѣчено (Ницше), характерно подводить всѣ отношенія подъ категорію отношеній господства и подчиненія, напр., отношеній между «капиталистами» и «пролетаріями», «работодателями» и «рабочими». Но «діалекты» по отношенію къ языку совѣмъ не то же, что «слуги» по отношенію къ «хозяину», или титулярные совѣтники въ сравненіи съ дѣйствительнымъ статскимъ. И ни въ «эмансипаціи», ни въ «повышеніи въ чинѣ и окладѣ» они не нуждаются. «Діалекты» и «языкъ» суть одно, элементы одного и того же живого цѣлаго и притомъ элементы равноправные. Повторяю, для того, кто стоитъ на почвѣ реальностей, а не школьныхъ абстракцій, «діалекты» подводятся подъ болѣе общую категорію «реально существующихъ языковъ», «языковъ говорящихъ людей». Условимся, для краткости, на-

\*) См. мою статью «Нація и Народъ» въ Совр. Зап. XXXVII.

зывать эту категорию «разговорнымъ языкомъ» (*langue parlée*). Всѣ безчисленные виды этого языка могутъ быть классифицированы по двумъ главнымъ группамъ: мѣстные говоры («диалекты» *patois*) и «классовые» (*argot*). «Argots» существуютъ не только у «апашей», «хулигановъ» и тюремной «шпаны», но и у «высшихъ классовъ». «Argot» французскаго Двора въ XVI в. оказалъ значительное вліяніе на образованіе литературнаго языка. Извѣстно, напр., что придворный обычай «*zézayer*» («зюзюканья») далъ начало слову «*chaise*» — изъ *chaire* (*cathedra*). Языковое творчество, столь ограниченное въ литературномъ языкѣ (*langue écrite*), въ языкахъ разговорныхъ не стѣснено рѣшительно ничѣмъ. Существуютъ различные взгляды на отношеніе этихъ языковъ къ литературному. Одни видятъ въ нихъ источникъ «порчи» литературнаго языка, хотѣли-бы, чтобы разговорные языки были «запрещены», «истреблены», по крайней мѣрѣ отдѣлены «санитарнымъ кордономъ» отъ литературнаго, — такъ, чтобы ни одно новое слово, не зарегистрированное въ «Академическомъ» словарѣ, не смѣло проникнуть въ школу и въ печать. Другіе — по большей части специалисты-филологи — протестуютъ противъ этого деспотизма во имя свободы языкового творчества. Нельзя, нерѣдко говорятъ они, — и невозможно, ставить преграды «естественной эволюціи» языковъ. О «естественной эволюціи» лучше было-бы не упоминать. Всякое творчество въ какомъ-то отношеніи «искусственно» и содержитъ въ себѣ элементъ «выдумки». Надо признать также и то, что «пуристы» оказываютъ часто вполне правы. Во многихъ случаяхъ языковое «творчество» приводитъ къ обѣднѣнію языка, къ его обезличенію, къ умаленію выразительности. И все же въ своей основѣ «пуризмъ» есть какое-то большое недомысліе. «Литературный» языкъ созданъ вмѣстѣ съ «литературой», онъ есть сама эта литература. «Мѣдный Всадникъ» заключаетъ въ себѣ не весь русскій языкъ, во всѣхъ его, когда-либо осуществившихся, «возможностяхъ» и нѣтъ никакихъ логическихъ основаній къ тому, чтобы утверждать, что фактъ написанія «Мѣднаго Всадника» явился какъ-бы ручательствомъ въ томъ, что никакихъ другихъ, еще подлежащихъ реализаціи, возможностей въ русскомъ языкѣ нѣтъ. Вѣдь «Война и Миръ» написана не тѣмъ же самымъ языкомъ, что и «Мѣдный Всадникъ». Поскольку ни одинъ художникъ словъ,

какъ бы онъ ни былъ великъ, не выражаетъ и не исчерпываетъ цѣликомъ національной «души» (ибо онъ есть личность и своей личностью ограниченъ), постольку считать, что его творчество ставитъ точку развитію языка значить впадать въ величайшее заблужденіе: третировать жизненные процессы (а народная «душа» не что иное, какъ такой процессъ, или «становленіе»), какъ мертвыя «вещи». Великіе художники слова это всегда понимали. Для Пушкина и Толстого, для Раблэ и Ла-Фонтена, для Данте и Гюго, «живые» языки, «говоры» и «argots» были тѣми источниками живой воды, которыми они питались, источниками неизсякаемыми и неисчерпаемыми, и той верховной «инстанціей», авторитетомъ которой они освящали свои дерзанія. Никто, кажется, не понималъ этого отношенія между «живыми» языками («парфчіями», «говорами») и «мертвымъ» (литературнымъ) языкомъ глубже, и не выразилъ съ большей полнотой и опредѣленностью, чѣмъ Марсель Прусть, — выразилъ не посредствомъ разсужденій, которымъ всегда чего-то не хватаетъ, а по своему, поэтически. Герой его романа (т. е., конечно, самъ Прусть) учится французскому языку, бесѣдуя съ герцогиней Германтъ и со своей служанкой Франсуазой. Эти двѣ представительницы самыхъ древнихъ общественныхъ классовъ, — строго говоря, верхушки и низа одного и того же класса и одной и той же культуры, являются, каждая по своему, хранительницами языковыхъ сокровищъ, забытыхъ, заброшенныхъ, оставленныхъ въ пренебреженіи новыми общественными классами, и не вошедшими въ «литературный» языкъ. И это общеніе, съ одной стороны, съ людьми, для которыхъ герцогъ Сенъ-Симонъ былъ-бы «своимъ человѣкомъ», съ другой — съ «народомъ» и было, надо полагать, условіемъ того, что Прусту удалось достигнуть такой предѣльной выразительности рѣчи, такого богатства оттѣнковъ, такой силы и свѣжести и — въ то же время — такой самобытности стиля. Трудно представить себѣ языкъ болѣе «искусственный», болѣе «литературный», болѣе отстоящій отъ разговорнаго, — и въ то же время несомнѣнно укорененный именно въ этомъ, разговорномъ по преимуществу, языкѣ\*). И какъ бы желая, при помощи контраста, сильнѣе

\*) Ср. объ отношеніи «писанаго» языка къ разговорному цѣнныя мысли Thibaudet, высказанныя имъ по поводу стиля Флобера, въ его книгѣ о послѣднемъ.

подчеркнуть животворящее значеніе разговорной рѣчи для литературнаго языка, Прусть съ меньшей геніальностью, подзвывая просто своимъ излюбленнымъ приѣмомъ — пародіи, показываетъ, какъ и почему «за свой собственный счетъ», собственными ресурсами литературный языкъ жить не можетъ. Жить — значитъ творчески продолжать традицію. И вотъ оказывается, что литературная традиція, взятая «въ себѣ», оторванная отъ живой жизни, бесплодна и мертва. Прусть изумительно уловилъ особенности «чисто-литературной» рѣчи двухъ педагоговъ: академика Бришо и археолога Саниеттъ. Они, на свой ладъ, «оживляютъ» и «обогащаютъ» свою рѣчь «реминисценціями» и «почтенными» архаизмами. Но это «оживленіе» приводитъ къ тому, что ихъ трудно понять, а «обогащеніе» къ тому, что въ разглагольствованіяхъ карикатурнаго Бришо каждый слѣдящій за французской литературой безъ труда замѣтитъ разительное сходство съ тѣмъ несноснымъ въ своей полнѣйшей безличности и мертвенной невыразительности языкомъ, какимъ пишутъ въ большинствѣ случаевъ французскіе «безсмертные», языкомъ *Revue des deux Mondes*, этого убѣжища и оплота ревнителей «чистоты» французской національной традиціи, этого кладбища французской культуры. Бришо и его прототипы изъ *Revue des deux Mondes* «говорятъ, какъ пишутъ». Когда они говорятъ, имъ кажется, что они пишутъ. Литература для нихъ — самоцѣль (у Пруста, кстати сказать, съ необыкновенной силой показано вообще иссушающее дѣйствіе всякаго «самодовлѣющаго» эстетизма — въ описаніи особой, призрачной жизни художественнаго «салона» г-жи Вердюренъ). Она замѣняетъ имъ жизнь. Тѣ слова и обороты, которыми они «обогащаютъ» и «оживляютъ» — на самомъ дѣлѣ дѣлаютъ его еще скуднѣе и еще мертвеннѣе — свой языкъ они черпаютъ не изъ живой традиціи, а изъ «классиковъ», изъ «пмятниковъ» литературы-же. Нечего и говорить: Прусть и самъ писатель необыкновенно основательной и широкой литературной культуры. Я думаю, что, кто не знакомъ съ *Discours de la Méthode*, съ *Institution de la Religion Chrétienne* и съ *Опытами* Монтаня, не въ состояніи почувствовать всей прелести Пруста, ни даже — просто какъ слѣдуетъ понимать его. Но для него Декартъ, Кальвинъ и Монтанъ не «образцы», не сборники «парадигмъ»: для него это — живые люди. Они живутъ вмѣстѣ съ г-жой Гер-

мантъ и Франсуазой и — въ нихъ, въ ихъ рѣчи. Литература «въ себѣ» — бессмыслица, понятіе, которому не соответствуетъ никакая реальность: за *Discours de la Méthode* есть Декартъ, а за Декартомъ цѣлая полоса когда-то живой жизни. Кто безсиленъ пережить эту жизнь, угадать ее трепетъ въ *Discours de la Méthode*, для того и этотъ послѣдній все равно что не существуетъ, а значить и его языкъ будетъ уже въ буквальномъ смыслѣ слова мертвымъ языкомъ, т. е. собраніемъ словъ и оборотовъ. Вотъ почему у «литературы въ себѣ» нѣтъ никакой своей собственной традиціи и вотъ почему жизнь литературнаго языка всецѣло обусловлена жизнью «говоромъ». И поскольку всѣ классы общества и всѣ области образуютъ одну націю и одну страну, никакой іерархіи «говоромъ», въ ихъ отношеніи къ «языку», нѣтъ и быть не можетъ: ключи живой воды бьютъ повсемѣстно. Всѣ говоры, какъ «областные», такъ и «классовые» (*argot*), къ которымъ нужно присоединить и «возрастные» («дѣтскій» языкъ!) и говоры различныхъ половъ (въ «женскомъ языкѣ, въ каждомъ классѣ, есть свои особенности, отличающія его отъ «мужского»), — образуютъ одинъ «потенціальный» національный языкъ, обезпечивающій вѣчную жизнь «мертвому» литературному языку. И именно всѣ вмѣстѣ, во взаимодействіи и въ совмѣстномъ вліяніи на послѣдній, — тогда какъ догматики демократическо-романтическаго натурализма хотѣли-бы, чтобы каждый мѣстный говоръ, весь цѣдикомъ, со всѣми случайностями и уродливостями, результатомъ узкаго, уцербнаго, «провинціального» или «кастоваго» существованія, сразу «получилъ производство» въ литературный языкъ. Нелѣпость этого требованія станетъ ясна, какъ только продумаемъ его до конца: вѣдь если создавать «бѣлорусскую націю», или «націю терскихъ казаковъ» (была рѣчь и объ этомъ), то почему и не — «націю окончившихъ училище правовѣднія», или «націю дѣтей до-школьнаго возраста»? Гдѣ здѣсь остановиться? Гдѣ предѣлъ?

Предѣлъ, однако, есть — и было-бы недобросовѣстно отрицать это. Есть группы, въ силу историческихъ или географическихъ условій оторвавшіеся отъ общаго «народнаго» массива, группы, которыхъ говоры уже не питаютъ собою національнаго языка, не участвуютъ въ его жизни. Такія группы встрѣчаются не только у однихъ «неза-

вершенных» націй, каковы нѣмецкая (голландскій языкъ) и русская (украинскій), но и у націй сложившихся, «готовыхъ» (провансальскій языкъ). Положеніе такихъ группъ — особое. Если подобная группа всецѣло, политически, какъ и культурно, оторвалась отъ общаго массива, — какъ голландцы, — то «діалектъ» тѣмъ самымъ становится языкомъ. Если она остается въ предѣлахъ общаго массива, то «діалектъ» или обреченъ на то, чтобы заглотнуть и вымереть (такова, повидимому, судьба сицилійскаго нарѣчія), или же онъ возрождается въ качествѣ отдѣльнаго языка, сосуществующаго съ общенациональнымъ (провансальскій языкъ въ наше время). Все дѣло здѣсь въ размѣрахъ группы (большая группа обладаетъ и большей силой сцѣпленія своихъ частицъ, нежели малая) и въ цѣнности, а значитъ и живучести культурной традиціи. Бесплодно спорить о «процессахъ» такъ, какъ если бы это были «вещи», — въ частности, напр., о томъ слѣдуетъ-ли считать украинскій языкъ «языкомъ» или же «только діалектомъ». Для тѣхъ украинцевъ, которые сознаютъ и цѣнятъ свою связь съ русской культурой, украинскій языкъ является или «только діалектомъ», или «вторымъ языкомъ», — каковымъ для провансальца является провансальскій языкъ: вѣдь ни одному провансальцу не приходится въ голову отречься, ради Мистрала, отъ Расина и Бальзака. Для тѣхъ украинцевъ, которые этой связи не чувствуютъ и не цѣнятъ, украинскій языкъ есть единственный «родной языкъ». Это вопросъ ирраціональнаго порядка, и весьма возможно, что и разрѣшенъ онъ будетъ «ирраціональнымъ» способомъ; причемъ — врядь-ли «большинствомъ голосовъ», можетъ быть --- силой.

Морфологъ культуры здѣсь поневолѣ вынужденъ ограничиться предупрежденіемъ, которое, впрочемъ, врядь-ли возымѣетъ дѣйствіе. Сила уже пущена въ ходъ. «Украинизація» проводится въ порядкѣ «государственнаго принужденія». Украинскій литературный языкъ уже сталъ совершившимся фактомъ. Какъ слѣдуетъ оцѣнивать этотъ фактъ? Прежде всего надо отбросить тѣ возраженія противъ «украинизаціи», которыя обычно выдвигаются: людямъ свойственно орудовать въ вопросахъ подобнаго рода аргументами, быющими мимо цѣли (не удивительно, ибо наше мышленіе сплошь пропитано предразсудками догматическаго «романтическаго» натурализма), и — утѣ-

шать себя ими. Народъ «не хочеть» украинизаціи, тотъ украинскій языкъ, который насаждаютъ украинизаторы — «не нашъ», не «народный» языкъ, народъ его «не понимаетъ» и т. д. Добиться отъ «народа», чего онъ «хочеть» и чего не «хочеть», не такъ легко. Въ концѣ концовъ, самъ «народъ» едва-ли знаетъ это. Извѣстно, что «народъ» въ иныхъ случаяхъ упирался противъ украинизаціи, подозрѣвая здѣсь коварство «пановъ», затѣявшихъ такимъ способомъ помѣшати «простымъ людямъ» самимъ стати «панами». Украинскій языкъ, конечно, не «народный» языкъ, — на то онъ и «литературный» языкъ. «Народъ» его «не понимаетъ», — но несомнѣнно не въ большей степени, въ какой онъ «не понимаетъ» и русскаго литературнаго языка. Отрицательная сторона затѣи «украинизаторовъ» не въ этомъ, а въ другомъ. Украинизація, проводимая въ «законодательномъ порядкѣ», есть величайшее заблужденіе и величайшее зло прежде всего для — самого украинскаго языка. Догматики романтическаго натурализма, — какъ и большая часть русской интеллигенціи, вообще, — украинизаторы вѣрятъ, что стоитъ только «снять» съ языка «оковы рабства», стоитъ только вывести его «на торную дорогу», а тамъ онъ уже «самъ» будетъ развиваться и раскрывать свои «возможности». Они вѣрятъ въ какое-то «самостоятельное» существованіе «языка въ себѣ» и въ «закономѣрность» его эволюціи, въ «естественный прогрессъ». Бѣда не въ томъ, что они, «содѣйствуя прогрессу», создаютъ «искусственно» украинскій литературный языкъ — такъ поступали и Данте, и Лютеръ и Ломоносовъ, «искусственно» всякое творчество, — а въ томъ, что они дѣлаютъ тоже самое, что и Данте, и Лютеръ и Ломоносовъ, сами не будучи ни Дантами, ни Лютерами, ни Ломоносовыми. И этимъ они предрѣшаютъ вопросъ объ украинскомъ языкѣ: надолго, если не навсегда, они обрекаютъ его на существованіе языка «второго», если не еще худшаго, сорта. Надо, какъ слѣдуетъ, вникнуть въ дѣло. Нѣтъ языковъ «по природѣ» и «вообще» «плохихъ» или «хорошихъ». Иерархія языковъ по ихъ «собственной» цѣнности основана на недоразумѣніи. Существуетъ взглядъ, по которому языки «сами собою» совершенствуются въ большей или меньшей степени въ зависимости отъ многочисленности каждаго даннаго народа и длительности его исторіи. Естественно, что чѣмъ дольше прожилъ народъ, тѣмъ болѣе онъ имѣлъ творческихъ гені-

евъ, — пусть и не передавшихъ вѣкамъ своихъ именъ. Что до численности народа, то она несомнѣнно вліяетъ на накопленіе словарныхъ богатствъ. Но эти богатства сами по себѣ — мертвый капиталъ. И къ тому же — такъ-ли они необходимы? «Душу» языка составляетъ его синтаксисъ и его словообразованіе. Первый опредѣляетъ собою границы языкового творчества и самого мышленія (нѣмецъ, овладѣвшій французскимъ языкомъ, мыслить яснѣе прежняго; французъ, овладѣвшій нѣмецкимъ — глубже); второе — открываетъ возможности обогащенія словаря. Въ словообразованіи заключается потенциальный словарь языка. Сколько словъ на -ость явилось въ русскомъ языкѣ на нашихъ глазахъ! Кто привыкъ мыслить отвлеченно на русскомъ языкѣ, тотъ создаетъ постоянно все новыя и новыя отлагательныя существительныя на -еніе — и дѣйствительно, мы знаемъ, что, со времени возникновенія русскаго философскаго языка, такихъ словъ у насъ накопилось во множествѣ. Говорятъ еще, что чѣмъ многочисленнѣе народъ, тѣмъ больше въ его языкѣ синонимовъ. И это тоже — недоразумѣніе. Синонимовъ въ одномъ и томъ же языкѣ нѣтъ: есть различныя слова, выражающія въ различныхъ діалектахъ одно и то же понятіе, и есть, въ предѣлахъ одного и того же діалекта, слова, выражающія различныя отѣнки одного и того же понятія. Обиліе словъ первой категоріи не къ чему: книжный языкъ всегда дѣлаетъ выборъ изъ этихъ словъ и останавливается для каждаго понятія на какомъ либо одномъ; что касается второй категоріи, то ея богатство, очевидно, зависитъ не отъ многочисленности народа, носителя даннаго діалекта, а отъ степени его развитія, т. е. въ конечномъ счетѣ опять таки отъ того, насколько содержательна была жизнь этого народа, т. е. другими словами, много-ли у него было творческихъ гениевъ. «Великій, свободный и могучій» русскій языкъ «великъ, свободенъ и могучъ» у Тургенева, у Толстого, у Пушкина, не — у Златовратскаго и у Григорія Мачгета. Языкъ несетъ на себѣ качества тѣхъ мыслей и тѣхъ чувствъ, которыя на немъ выражены. Если бы у русскаго народа вмѣсто Бѣлинскаго и Герцена были только Луначарскій и Фриче, и вмѣсто Толстого — только Златовратскій, то «русская словесность» преподавалась бы по этимъ образцамъ, Фриче и Златовратскій были бы «классиками»



и ихъ языкъ сталъ бы русскимъ «литературнымъ», т. е. «классическимъ» языкомъ. Границы для языкового творчества проложили бы они, и, кто знаетъ, народись послѣ нихъ Пушкинъ, смогъ-ли бы онъ эти границы нарушить? Вѣдь классики «убиваютъ» языкъ и опредѣляютъ — въ буквальномъ смыслѣ слова — національную индивидуальность. Убѣжденъ напередъ, что, если эти разсужденія попадутся на глаза «украинизаторамъ», то большинство изъ нихъ врядъ-ли даже ихъ пойметъ. Помимо предразсудковъ догматическаго «натурализма» романтики, здѣсь дѣйствуетъ еще одно обстоятельство. Культура нашихъ дней, времени небывалаго обостренія международнаго соперничества, — а тѣмъ болѣе культура «новыхъ народовъ», вынужденныхъ «догонять» старые, — сплошь «политизирована». Культура «новыхъ» народовъ «дѣлается» политиками и изъ политическихъ «видовъ». Сферы «духовной культуры» разсматриваются ими, въ силу профессиональной привычки, какъ «институты». Качество литературной, музыкальной, научной и т. д. «продукціи» ихъ не заботитъ, да врядъ-ли они и способны разбираться въ этомъ. Имъ важно, чтобы «продукція» удовлетворяла требованіямъ «народности», чтобы, напр., симфоніи или увертюры писались на мотивы народныхъ пѣсень, чтобы живописцы, изображая дѣвицъ, наряжали ихъ въ «національные» костюмы и т. под. Съ другой стороны, имъ важно, чтобы «національные» писатели, живописцы, композиторы доказали, что они «владѣютъ» новѣйшими художественными «формами» не хуже писателей, живописцевъ, композиторовъ нѣмецкихъ, русскихъ, французскихъ. «Перекровительствуя» національной культурѣ, еще не существующей, и «вызывая ее къ жизни», они тѣмъ самымъ убиваютъ ее въ ея зародышѣ.

Предвижу одно, шаблонное, возраженіе: всякая новая культура начиналась съ подражанія, съ «пересадки» чужихъ формъ и лишь въ послѣдствіи становилась «самобытной». Гораций подражалъ греческимъ лирикамъ, Данте «пересаживалъ» на родную почву «новый стиль» провансальскихъ поэтовъ, Ломоносовъ и Сумароковъ учились у нѣмецкихъ одописцевъ, у Расина и Вольтера. Это вѣрно, но все дѣло въ томъ, что они, если подражали кому-либо и учились у кого-либо, то для того, чтобы написать стихи, а не для того, чтобы что-то кому-то «доказать», — хотя чувство патріотическаго самолюбія

имъ далеко не было чуждо. Предвижу и другое возраженіе. Сами украинизаторы признаютъ, что украинизацію приходится проводить насильственно, потому что русская культура столь совершенна, столь могуча и столь обаятельна, что, въ условіяхъ свободной конкуренціи, украинская развиваться бокомъ-о-бокъ съ нею не въ силахъ. Это соображеніе — весьма основательное. Весьма вѣроятно, что иначе какъ принудительно насадить украинскую культуру нельзя. Но въ такомъ случаѣ — надо отъ нея отказаться. Ибо принудительно насажденная культура не есть культура, а только ея видимость. Украинизаторовъ страшитъ, что украинскій народъ, дай ему свободу «культурнаго самоопредѣленія», сольется съ русскимъ народомъ — какъ это дѣйствительно и происходитъ въ областяхъ колонизаціи, въ Сибири и въ Ср. Азіи \*), - - потеряетъ «свое лицо». И, изъ опасенія этого, они напяливаютъ на него — маску. Но маска не замѣнитъ лица. Забота о сбереженіи «народнаго лица» есть тоже слѣдствіе романтическаго натурализма. «Лицо» народа постоянно мѣняется, жизнь народовъ есть непрерывная серія смертей и рожденій, народы сливаются одни съ другими, давая начало новымъ народамъ, тѣ, въ свою очередь, дифференцируются на новыя націи. Преступно и безумно всякое насиліе, учиняемое однимъ народомъ ради того, чтобы ассимилировать себѣ другой; но столь же безумно — ставить преграды процессу свободной ассимиляціи народовъ. Пусть этой свободной ассимиляціи и предшествовала насильственная: въ этой сферѣ «раздѣлать» то, что было сдѣлано исторіей, невозможно. Можно «исправить» границу, можно замѣнить чужую власть своей, «національной», но какъ можно «исправить» народную душу или замѣнить «новую» его душу прежней, «традиціонной», «исконно-національной» — этого даже нельзя понять. Вѣдь у народа, какъ и у отдѣльнаго человѣка, не можетъ быть «чужой» души; та душа, которая «въ немъ» находится, это и есть «его» душа. Думать иначе, значитъ раздѣлять точку зрѣнія старинной психологіи, различавшей въ человѣкѣ «душу» и «его самого», какъ ея «вмѣстилище». Языкъ есть «душа» народа. И тотъ языкъ, на которомъ народъ думаетъ и говоритъ,

\*) См. объ этомъ замѣчательную статью проф. Прокоповича въ «Экономическомъ бюллетенѣ», № 60, 1928 г.

есть его собственный языкъ. Допустимъ, что украинскій народъ добровольно и незамѣтно для самого себя усвоить русскій (т. е. общерусскій) языкъ. Украинскій народъ тѣмъ самымъ не «обезличится», онъ станетъ одно съ русскимъ народомъ, онъ сопричастится «душѣ» Пушкина и Толстого, какъ въ свое время сопричастился ей Гоголь, въ свою очередь безмѣрно обогатившій «русскую душу». Мыслимъ и другой исходъ. Нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ, что въ условіяхъ свободы развитія, въ Россіи демократической и устроенной на признаніи областной автономіи, соперничество языковъ приведетъ къ тому, что Украина дастъ міру своихъ собственныхъ великихъ писателей, какъ она уже дала Шевченка. Но украинизаторы дѣлаютъ все отъ нихъ зависящее, чтобы осуществленію этой возможности воспрепятствовать. Въ своемъ торопливомъ усиліи закрѣпить за собою наибольшее количество «шансовъ», они упускаютъ единственный, который чего-нибудь стоитъ. И по мѣрѣ того какъ «украинизація» пускаетъ корни и начинаетъ давать плоды, опасность, что этотъ единственный шансъ будетъ упущенъ безповоротно, — конечно, все болѣе возрастаетъ.

\*\*  
\*

Въ теченіе вѣковъ культура Европы была «универсальной» и одно- или двуязычной. Сначала это была греческая культура, культура по преимуществу, въ противоположеніи «варварству», безкультурности. Латинская культура, ставшая впослѣдствіи рядомъ съ нею, не противопоставила себя греческой. Въ представленіи людей латинской культуры, эта послѣдняя была тою же самою культурою, что и греческая. Культурный человекъ поздней античности и ранняго христіанства пользовался безразлично обоими языками — и поздніе греки и народы, усвоившіе греко-римскую цивилизацію, въ пору, когда Константинополь сталъ столицей Римской Имперіи, считали и называли себя «римлянами» («ромеями»). Средневѣковая культура Западной Европы сохранила эти черты — одноязычности и универсальности. Ея содержаніе нашло совпаденіе съ содержаніемъ общечеловѣческой, міровой — именно таковою и создаваемой — религіи, христіанства. Принадлежность къ христіанству опредѣляла собою всецѣло и то, что мы теперь назвали бы «національной принадлеж-

ностью», до такой степени, что христиане считались «новым народом» в противоположность всем прочим, которые и именовались, в отличие от христиан, «народами», *ethne, gentes*, «языки». Языковое единство Европы определялось ее культурным единством. Латинский язык старались блюсти в чистоте ради сбережения отложившейся в нем христианской традиции. «Национальный вопрос» ставился в Средние века исключительно как вопрос о гегемонии той или иной этнической группы в христианском мире, — причем основой подобных притязаний выдвигалось мнимое родство с «родоначальниками» этого мира, т. е. «родоначальниками» римского народа — троянцами. Местные языки признавались, как *matter of fact*, и все наречия именовались «простонародными» языками, «*sermo vulgaris*». Универсальность культуры не исключала местных своеобразий. Напротив, никогда не было такой нестроты законов, одежды, обычаев, вкусов, такой свободы в проявлении национального творчества, как тогда. Единство средневековой культуры состояло в том, что все отдельные культуры, из которых она складывалась, имели общее «направление», все они были выражением одного и того же устремления — к Богу. Поскольку религия была «нормой», «предломом» и санкцией всех этих культур, постольку и язык религии, латинский, был «нормой» и «образцом» всех «простонародных языков». В эпоху Возрождения это соотношение осталось прежним. «Гуманисты», наряду с «очищением» латыни от варваризаций, которой она подверглась в течение Средневековья, занимались и «облагорожением» «простонародных» наречий, ставших еще ранее языками образованных людей, но сохранивших то, что гуманистам представлялось «варварской безформенностью» и «безграмотностью». Гуманисты усиливались подчинить эти языки правилам латинской грамматики, латинской прозы и латинского построения периодов. Результат их усилий был двойной: латинский язык они в конце концов убили. Державшийся исключительно Школой, латинский язык, пребывавший «внутри» и «по ту сторону» жизни, не был в состоянии выдержать их реставраторские опыты: он поддался им без сопротивления. Напротив, новые языки, связанные со всеми сторонами «действительной» жизни, вышли из гуманистической обработки окрещенными и

усовершенствованными: жизнь отбросила то, что въ гуманистической реформѣ было неприемлемо — не потому, что шло въ разрѣзъ съ яко-бы присущимъ каждому языку его неизмѣннымъ и всегда тождественнымъ себѣ въ своей «интимной основѣ» «духомъ», а потому, что сама жизнь и ея «духъ» измѣнились со временъ Ливія, Цицерона и Горация, — и удержала за новыми языками то, что ими, т. е. въ сущности, опять таки ею, жизнью, поскольку она являлась продолженіемъ жизни «античныхъ» народовъ, могло быть удержано. «Рецепція» латинскихъ элементовъ въ языкѣ, подобно рецепціи римскаго права, отвѣчала потребностямъ новой цивилизации и лишь въ той мѣрѣ, въ какой она имъ отвѣчала, явилась «органическимъ», жизненнымъ процессомъ. «Облагораживая», «уточняя» и обогащая новые языки, гуманисты преслѣдовали по существу прежнія, универсалистическія, цѣли, — съ тою разницею, что для нихъ «нормой» было уже не столько христіанство, сколько «античность». Национальныя культуры не были и для нихъ самоцѣлью и самодовлѣющей цѣнностью. Блестящій расцвѣтъ національныхъ литературъ и, слѣдовательно, національныхъ языковъ былъ результатомъ устремленій, выходившихъ за предѣлы чисто-національныхъ интересовъ и потребностей. И если культурный подъемъ европейскихъ народностей въ періоды «поздняго средневѣковья», Возрожденія и Реформации совпалъ съ политическимъ, то здѣсь, хотя не было случайности, но не было и односторонней «причинно-слѣдственной» зависимости: «политика» не «опредѣляла» себою «культуры» и «культура» не «служила» политикѣ. Поскольку мѣстныя культуры развивались свободно и безъ «задней мысли», поскольку онѣ не «подгонялись» подъ какія-бы то ни было «мета-культурныя» цѣли, но тянулись въ направленіи и м а н е н т н о й цѣли всякой культуры, къ Абсолютному (ибо «Возрожденіе», не будучи чисто-христіанскимъ, по своему характеру, отнюдь, однако, не было движеніемъ отъ культу абсолютныхъ цѣнностей къ культу цѣнностей относительныхъ, и «гуманизмъ» не былъ по своему философскому содержанію проповѣдью «чистой», т. е. безъ-божной, самодовлѣющей «человѣчности»; наконецъ, не надо забывать, что «язычскій», «платоновскій» гуманизмъ очень скоро былъ оттѣсненъ новымъ, христіанскимъ, протестантскимъ и католическимъ), — въ этомъ универсализмѣ не было ничего тако-

го, что обезличивало бы культуры, что дѣлало бы ихъ а-національными. Образование общенациональной власти, національныхъ границъ и политическихъ центровъ содѣйствовало умаленію культурной пестроты и череполосицы, характерныхъ для средневѣковья; въ каждой странѣ культура центра, «двора», главнаго города, стала преобладающей и обще-національной; на основѣ множества мѣстныхъ нарѣчій сложились національные языки, — одинъ для каждой національно-политической формации, для каждого коллектива, тяготѣвшаго къ тому, чтобы стать таковой.

Въ эпоху Гердера, Гете и романтики этотъ процессъ подвергся осмысленію — и притомъ весьма разностороннему. Исходной точкой послужила реакція противъ новаго, «раціоналистическаго», «чисто-человѣческаго», пивелирующаго и обезличивающаго универсализма конца XVII и XVIII в., которому противопоставили тотъ истинный, не исключаящій «народности», универсализмъ, о которомъ я говорилъ, — для однихъ, античный, для другихъ — христіанско-католическій. Не случайно новое движеніе расцвѣло именно на германской почвѣ: 1) германская культура стала въ наибольшей степени жертвой этого «новаго» универсализма; 2) обращеніе къ Средневѣковью привлекло вниманіе къ тому факту, что начало средневѣковой культуры совпало съ выступленіемъ германцевъ на сцену исторіи. Создалась теорія о нѣмцахъ, какъ объ «универсальномъ» народѣ «по преимуществу», «самою природою» своего «генія» предназначенномъ къ тому, чтобы «реализовать» христіанскую идею и стать ея «носителемъ». Одновременно съ этимъ реакція противъ «новаго» универсализма, съ его «механичностью» — плодъ «раціонализма!» — дала начало ученію объ «органичности» историческаго развитія, о Націи, какъ «организмѣ». Идея «организма», выдвинутая противъ «механизма» эпохи «Просвѣщенія» съ его номиналистическимъ атомизмомъ, имѣла значеніе первоначально и въ первую голову какъ идея «всеобщности», примата «цѣлаго» надъ «частями». Позже въ ней стали подчеркивать второй ея «моментъ»: иманентной закономѣрности историческаго развитія. Самое слово «организмъ» открывало двери вторженію натуралистическимъ представленій въ исторію. Сочетаніе «философіи германства» съ идеей «организма» дало начало ученію о «народности», какъ «организмѣ» въ смыслѣ носителя и?

начала данныхъ» духовныхъ свойствъ, которыя подлежатъ «раскрытію» въ процессъ историческаго развитія. Языкъ, какъ выраженіе «души» народа, самъ сталъ разсматриваться, какъ «организмъ», т. е. какъ величина, съ самаго начала обладающая особымъ «гениемъ», который «долженъ» въ силу «внутренней необходимости» проявить себя. Понятно, что отъ нѣмцевъ никому не было желательно отстать. Разъ въ «германствѣ» изначала «заложена» извѣстная «идея», въ силу которой нѣмцы и являются «историческимъ» народомъ, то почему отказывать въ томъ-же самомъ прочимъ народамъ? Собственная народность для каждаго народа стала фетишемъ. Романтическое ученіе о «народности» сдѣлалось двигателемъ и обоснованіемъ національнаго движенія въ Европѣ XIX в. Романтизмъ сочетался съ тѣмъ умственнымъ теченіемъ, въ качествѣ реакціи противъ котораго онъ возникъ, съ рационализмомъ «Просвѣщенія» съ его вѣрой въ «механической», т. е. могущій быть «сдѣланнымъ», осуществленнымъ по «разумному» плану, всеобщій «прогрессъ». Въ средніе вѣка народы творили свою индивидуальность, не думая о ней и именно потому, что не думали; она создавалась сама собою въ процессъ ихъ восхожденія къ сверх-национальнымъ, ибо сверх-человѣческимъ цѣлямъ. Культура во всѣхъ ея проявленіяхъ была совокупностью символовъ невыразимаго и непостижимаго. Въ наше время народы вращиваютъ и холятъ національныя культуры какъ символы — собственной народности. Они ведутъ «борьбу за языкъ», они «охраняютъ» и «очищаютъ» свои языки, ради нихъ самихъ, и вотъ оказывается, что имъ — нечего сказать, что имъ приходится пробавляться «переводами» чужихъ словъ и чужихъ мыслей. Умноженіе национальныхъ культуръ и, слѣдовательно, национальныхъ языковъ до сихъ поръ не привело къ обогащенію современной культуры. Иначе и быть не можетъ. «Культура» въ своей сущности вѣдь не что иное какъ символическое выраженіе иначе невыразимаго. Культура по существу символична. Разнообразіе культуръ опредѣляется разнообразіемъ символическихъ средствъ выраженія, которыя являются естественно иными въ соснахъ Шварцвальда, иными подъ «ясными какъ радость» небесами Тосканы, иными въ безбрежныхъ равнинахъ Россіи. Но въ томъ случаѣ, когда народъ ставитъ своей единственной цѣлью «быть какъ

всѣ», возлагая все остальное на «законъ прогресса», который рано или поздно «самъ собою» обусловить то, что «заложеныя» въ народномъ «духѣ» возможности реализуются (какія это «возможности», надъ этимъ не задумываются, да и какъ это было бы мыслимо для людей, стоящихъ на точкѣ зрѣнія единообразнаго и всеобщаго «прогресса?»), для символа-творчества уже, очевидно, нѣтъ мѣста. А значить, — нѣтъ мѣста и для культуры.

Всякое развитіе антиномично и, слѣдовательно, трагично. Трагедія современнаго развитія европейскихъ и «европеизируемыхъ» народовъ состоитъ въ томъ, что борьба за національную самобытность и за національное самоопредѣленіе, обращая Націю въ самоцѣль и въ само-довлѣющую цѣнность, приводитъ къ національному обезличенію, къ смерти Націи и, слѣдовательно, къ гибели культуры, ибо «нація» и «культура» -- одно.

**П. Бицилли.**